

Всем, сидящим за выпускными партами, посвящается.

Каждый день вы пытаетесь встать с кресла, к которому вас приковывают страхи подросткового взросления. Сегодня вы выигрываете этот бой. Но со следующего утра битва за волю к жизни начнется заново. Крепитесь, так будет не всегда. Однажды вы проснетесь и увидите, что нечто важное в прошлом, угнетавшее вас, теперь не приносит боли и даже кажется забавным.

Пожалуйста, взгляните на свои пальцы.

Подожду, пока вы это сделаете.

Что ж, а после сожмите их в кулак...

Все очень просто, правда? А теперь проведите ладонью по тому, что находится впереди вас. Не упрямитесь — сделайте это. Возможно, вы почувствовали ледяную скользь стекла того самого окна, возле которого ждете кого-нибудь, чтобы вместе горевать, или радоваться, или отправиться в захватывающий путь. А, быть может, резным рисунком, тем, который принято считать уникальным, — рисунком подушечек пальцев вы ощутили пористую шероховатость стола, куда облокотились

в раздумье. Или, что повеселей, коснулись знакомого каждой клеточкой лица своего друга, и он, удивляясь неожиданному прикосновению, сердится, просит убрать руки. Но даже если перед вами пустота страшной невесомой пропасти, думаю, вы почувствуете и ее. Кровь закипит адреналином в вашем сердце, жаждущем избежать опасности, и разгоряченные алой пульсацией капилляры начнут напирать на ту самую паутину рисунка, что на кончиках пальцев. Как разнообразны и бесчисленны ощущения, передаваемые этой незначительной частью тела! Но зачем вам об этом задумываться? Вы бы и не стали этого делать, если бы я не попросила.

Я же не чувствую ничего.

Мое тело отказало мне частично в движениях, и импульсах, и задачах два года назад, как раз в канун моего пятнадцатилетия. Временами оно с перебоями передает вкус протекающей вокруг меня жизни. Но что-то подсказывает, что оно вот-вот совсем откажется повиноваться моему рассудку. И я с нетерпением и ужасом, со злорадством и равнодушием ожидаю, когда прокричит кукушка на часах, и этот момент настанет.

Мое сердце, сжимаясь от сочувствия к собственной душе, ликует во мне: «Твоя болезнь — ошибка! Кончина — это плацебо для твоего испорченного сознания, ищущего любой повод остановить собственную жизнь! Однажды, устав бороться с тоской, ты решила, что инвалидное кресло — это лучше, чем борьба!»

Но мой разум усмехается и возражает: «Есть снимки, результаты анализов и утверждения квалифициро-

ванных врачей. Поглощающее твое тело онемение есть итог развития странного, пока еще неизвестного нервного заболевания! Ну и пусть врачи не знают имени этого зверя. Но царапины и следы его укусов — на всем твоём сознании. А значит, не стоит сомневаться в его существовании. Возможно, однажды врачи найдут клетку для этого зверя и освободят твою душу. А пока что тебе остается только дышать и ждать — в этом и будет заключаться твоя дальнейшая жизнь!»

Между тем сердце никак не уgomонится. Оно находит десятки причин, почему анализы могли сплеховать. Вдруг во время погружения своим оком в диаграммы моего головного мозга врач попросту чихнул, отвлекся и невольным нажатием курсора залипающей клавиши мышки стряхнул на аппаратуре все верные данные. А вдруг его отвлекли телефонным звонком, и в это время произошел сбой программы? Дугообразные чертежи моих полушарий заменились чьими-нибудь еще, кто уже давно приговорил себя к бездействию? А что если и вовсе нет никакого зверя? Может быть, мое сердце, не могущее смириться с трагедией, с *его* отсутствием, просто создало иллюзию зверя — болезнь, которой нет? Сердце шепчет целую кучу нелепостей. Зачем оно обманывает расстроенную душу? Вливает в мысли фальшивый оптимизм, не оправданный ни единой бумажкой из всех пройденных мною процедур.

Но мозг не щадит меня нисколечко — бичует, рубит на куски любые очажки надежды. Как ни глянь, все беспросветно.

Бабушка часто повторяет мне: «Посмотри в зеркало. Когда-нибудь ты перестанешь узнавать себя». Или говорит: «Сходи умойся. Даже если от тебя останется одно лицо — оно все равно должно быть чистым». В иной раз от нее можно услышать вот что: «Проветрись на улице. Вдохнешь свежий воздух и почувствуешь, какая же вкусная на самом деле жизнь!»

Она говорит мне это так бескомпромиссно, будто я действительно могу воткнуть свои ноги в ее старые калоши и побежать на улицу. Да, бабушка разговаривает со мной так, словно под моей пятой точкой нет сиденья инвалидного кресла. Наверное, побуждая меня к невозможному, она пытается разбудить во мне чувство собственного достоинства. Она уверена, что в свои семнадцать я поставила на себе веющий могильным холодом крест. Ей хочется, чтобы этот крест под другим углом зрения стал плюсом.

Но она права. Крест поставила не я — его взгромодила поверх моей воли некая внутренняя сила в моем глубинном подсознании. Эта сила, утратив живительное воодушевление надеждой, иссохла, захла, превратилась в анорексичный, острый, болючий тупик безутешности. Без единой плавной линии, без единой имеющей тягу жить мышцы. Сила стала тупиком. Тупиком безутешности. Непоправимости. Именно непоправимости. Я бы закричала во все горло и горы бы свернула, если бы существовал хоть намек на возможность вернуться на пару лет назад к точке невозврата. Но моя сила уперлась в тупик.

Что поделаться, когда в одном тесном мире моего тела воюют две разные стихии, врезаясь друг в друга в ожесточенной схватке.

Одна неведомая сила убеждает в необходимости жить. Она бабушкиными аргументами запускает свою энергию в тело и день за днем старается воскресить меня: «Разве где-то там, до рождения, мы пишем заявление, чтобы родиться? Разве определяем время, чтобы появиться на свет? Разве выбираем ту, кто девять месяцев будет носить чадо у наполняющейся молоком груди? Не можем. Не определяем. Точно не мы. А раз это в чьей-то высшей власти — доверься! Доверься и посмотри, что будет дальше! Главное — живи!»

И снова мощь второй стихии, черной и зловещей, как гейзер нефти, вливается нерастворимыми масляными пятнами в голубую гармонию праведных мыслей, окропляя их чернотой: «Зачем все это? Какой смысл переживать каждое мгновение боль воспоминаний, когда можно успокоить душу беспробудным, вечным сном?» Стыдно признаться, но, похоже, с этим взглядом я сдружилась куда ближе.

Бабушка расстраивается, когда видит мое застывшее в унынии лицо. Я затылком чувствую, что она едва сдерживает слезы, наблюдая за моим просиживанием у слегка обледеневшего окна.

Жалость в ее взгляде болезненна для меня. Но куда тяжелее замечать укор, что день и ночь сочится из ее светлой души. Да, она избегает любых фраз осуждения. Но разве взгляд, прорвавшийся изнутри и отобража-

ющий всю глубину кипящих чувств, не бывает красноречивее любых слов?

Она пытается выдернуть меня из-за компьютера, из социальных сетей, где с моей электронной страницы ядовито-счастливо смотрит на мир красивое лицо юной девушки. Это я два года назад. Страница и ее оформление, все до единой записи остались в том же виде, в каком были накануне трагедии...

Видели бы вы это лицо! Ох, как оно раздражает меня. Уничтожает. Я смотрю в него как в чужое. Но ведь оно мое!

Когда-то оно так нравилось другим. Но посмотрели бы они на меня сейчас! Представляю, как в гробовом затишье, в скрежещущем от разочарования безмолвии стояли бы мои бывшие поклонники угаснувшей толпой перед инвалидной коляской, как перед тронем умерщвленного фараона. И вдруг мое лицо слегка дернулось бы и зашлось — ха-ха-ха — в истеричном и отчаянном хохоте. Потерянное лицо потерянного человека. Смотрите, теперь у меня красная бугристая кожа, пустые глаза, точно они и есть глазницы мумии, восставшей из саркофага. А эти взлохмаченные волосы — мне больше незачем укладывать их в шелковистые волны. Я превратилась в чучело фараона. Ха-ха-ха. До чего же все смешно и нелепо в этой бегущей мимо меня жизни.

Жалко бабулю. Она не перестает надеяться, что время пойдет вспять и каким-то чудом случится мое выздоровление. И тогда я с гиканьем вскочу с коляски, причешу свои засаленные волосы и побегу, как прежде, в школу.

А я уже ни на что не надеюсь, хоть имя и обличает доверенные вам тайны — Надежда. Да, даже имя обличает меня. Даже оно стало мне чуждым.

Редко кого из моих сверстниц зовут Надеждой. Вероники, Карины, Анжелики. Зато в нашем доме — Надежда! И только Надежда. Здесь никогда никого не бывает. Ко мне из девчонок за последние два года никто не заходил. Зачем? У них есть занятия куда интересней, чем сидеть в неловком молчании рядом со мной, чувствуя себя без вины виноватыми. Их ждут первые, обжигающие жаром новизны и влюбленности свидания, экстремальные прогулки на скоростных великах или роликах, увлекательный (насколько окажутся щедры родители) шопинг по бутикам.

Я их не осуждаю. Думаю, что и сама жила бы в удовольствии, не обремененная самой большой потерей в своей жизни.

Моя юность несколько прозаичней...

Порой в наш старый дом приходят женщины из социальной службы. Что о них сказать? Приходить — это их прямая обязанность. Они действительно делают это, потому что вынуждены. Когда ты практически обездвижен, начинаешь внимательней читать эмоции на лицах собеседников. Вынужденность — единственная эмоция на лицах этих дам. И я им не завидую — подружиться со мной на самом деле сложно.

Моя бабушка в эти вечера становится какой-то беспокойной. Она задерживает всех приходящих у блокпоста — порога прихожей. И там они шушукуются, как на тайном

свидании в преддверии заточения в моей комнате. Возможно, бабушка выдает им тайную инструкцию по выживанию наедине со мной в ближайшую пару часов. Или напоминает им запасные выходы на случай катастрофы. Например, есть окно в моей комнате. Из него дивный вид на фруктовый сад. Но аромат его я чувствую только памятью. Как и живу сейчас — памятью. А может, бабушка произносит заклинание, призванное добавить толику терпения моим собеседницам. Как бы то ни было, этот обряд проходит каждый ступающий на скрипучие половицы нашего дома. Однажды я как-то услышала заключительную часть этих шептаний:

— Прошу вас, не говорите. Пощадите чувства моей девочки. У меня кроме нее никого. А вдруг она опять... Ох, не переживу я тогда. И так уже перестала пить таблетки, чтобы дома больше ничего не хранилось...

— Да вы не переживайте, — успокаивали ее гости и с молчаливо-каменным лицом ступали в мой мир, где всего одно окно и непахнущий фруктовый сад.

И каждый раз от них я слышу почти одно и то же. Но сегодня прозвучало нечто новенькое. Моя наставница просто вышла из себя, узнав, что я грублю бабуле и со всем не помогаю по дому.

— Посмотри, как живут другие! — ее голос взметнулся в верхний регистр, переходя на повышенный тон.

Я все ждала, когда же обозначится пик этой несдержанности, этого абсолютного нежелания хотя бы на миг вспомнить себя подростком и понять мои чувства. Я ждала, когда она сорвется и, в конце концов, произ-

несет это слово. Нет, что вы, в этом слове нет ничего постыдного — оно бесконечно звучит во всяких конкурсных положениях, документальных постановлениях, оно на устах у тысяч-тысяч людей на всей планете. Но для меня в его звучании есть проблема.

— ...Они участвуют в соревнованиях! Защищают честь нашего района! А какие у них получаются подделки — не каждый способен смастерить такую красоту и двумя руками. А они умудряются одной! — в конце своей тирады, не найдя отклика в моих глазах, она не выдерживает и восклицает: — *Инвалиды* нашего города известны во всей республике! Наша молодежь — это творчески развитые люди. Они следят за своим здоровьем, участвуют в спортивных состязаниях. Они талантливы — поют, рисуют, пляшут! А ты...

— Уж простите, — каюсь я, не скрывая иронии, — я бы с радостью ушла из вашего инвалидного общества, дабы не портить статистику по району. Но, увы, на одной ноге далеко не ускачешь. Кстати, вы пробовали?

— Что? — возмущаются моему хамству.

Как можно было ей — поборнице справедливости, ревностной защитнице прав всех, кто ограничен физически, — задавать такие неподобающие вопросы? Возмущение отпечаталось в гряде морщин на застывшем чопорном лице.

Ничего-то она не понимает. Разве инвалид — это тот, кто не может ходить? Нет, поверьте, все куда сложнее. Инвалид — это тот, кто неспособен к милосердию. Вы подумайте, ее жертва — это бумажки, отчеты для бога всей

ее жизни — некоего управления, где эти бумажки копятся, подшиваются, хранятся, а мне сдается — просто выбрасываются. И убогая бумажная жертва куда важнее для этой идолопоклонницы, чем сочувствие. Ведомство кормит ее, а она ему служит, боясь развить в сердце хоть каплю любви к подопечным. Ведь любовь большинства людей исчерпаема. Что будет с их родными и близкими, если кто-то посторонний вычерпает такой колодец до дна? Но, думаю, тот, кто живет там, куда нам не допрыгнуть, отверг бы ее со всеми кипищами отчетов о проделанной работе, не поставив ей цену и в грош. И я его понимаю. Он желает увидеть братскую любовь между своими детьми, а не бумажные войны бюрократических танков. Зачастую им жалко тратить воду жизни из своего сердца на чужих — им проще заполнить пресловутый документ с пометкой «инвалидность».

Вы знаете, что значит слово *invalidus*? Если нет, то в этом нет ничего зазорного — в вашей карточке ведь нет пометки с этим словом. Я раньше тоже не задумывалась об этом. «Бессильный» и «недействительный» — вот что оно значит. А эта грубоватая, уставшая от бесконечных походов по своим подопечным женщина назвала меня инвалидом. Я настолько бессильна? Я недействительна?

Мне хотелось бы спорить с ней, огрызаться, сопротивляться, потому что глубоко внутри себя ощущаю мощную энергию, зарытую под всеми пластами моего мировосприятия. Но не могу позволить этой энергии прорваться на поверхность, потому как не вижу для этого ни одного стоящего мотива. Но поспорить-то хочется.

— Скажите, вы пробовали скакать на одной ноге хотя бы час? — вырывается из меня саркастическое замечание. — Или нет: лучше неделю! О-о-о! О чем речь! Давайте мы с вами днями напролет будем скакать на одной ноге? Можно держаться за руки, если боитесь упасть. Это же просто отличная идея! Хотя нет... За руки держаться не получится. Ведь вы тогда совсем будете «недействительны» — не сможете развиваться творчески. И тогда ваша отчетность пострадает. Лучше одной рукой вы возьмете кисть, окунете ее в краску и нарисуете чудо-картину. А после мы отправим ее на выставку. Все будут останавливаться возле вашего рисунка, прикрепленного кнопкой к деревянному стенду, и восхищаться. И, конечно, вам это будет невероятно льстить. А я своей свободной рукой изобрету машину времени, чтобы вернуться в прошлое, где две ваши целехонькие ноги и думать не думали переступать порог моей комнаты.

— Ты что себе позволяешь! — прогремел взрыв.

Я-то думала, начнет жалеть, но она рассвирепела:

— У всех в этом мире свои проблемы! Кому сейчас легко! Думаешь, так просто прожить с тремя копейками в кармане? Ты хоть одну копейку трудом своим заработала? Хоть что-нибудь стоящее сделала в своей жизни? Си-дишь тут, развалилась в кресле, как барыня. А я вкальваю целыми днями, как лошадь, пытаюсь хоть немного прости-мулировать таких, как ты! И что имею? Гроши жалкие. Что ты все жалеешь-то себя! Распустила сопли, как нюня. Хоть бы причесалась пошла. — Ох, как остро отдаются во мне глаголы. — Бабушке помогла бы. Она ведь замота-

лась из-за тебя совсем! Ни отдыху, ни продыху. Ей уже под семьдесят, самой впору на твое место садиться. Ну, что ты смотришь так на меня? Ты ведь не лежачая. Не полумная какая. Ты запомни: в этой жизни все чего-то лишаются рано или поздно. Не бывает в нашей жизни, чтобы не было потерь! Кто-то ума лишился, кто-то ног, а кто-то... ребенка. — И вдруг затихла, повиснув взглядом на некой точке. — Никогда не знаешь, что хуже...

Она замолчала, разрушенная внезапным воспоминанием. И погасла совсем. Как прогоревшая в чьих-то пальцах спичка. Уж лучше бы свирепый огонь. Пожар из драконьей гортани. Вулканический фонтан. Уж лучше бы!

Жалея ее, молча подписываю подсунутые мне тесты, подтверждающие, что в наш дом приходила такая-то, а значит, социальная служба работает, и зарплата всем причитается. Не жалко мне зарплаты для нее. А вот ее самую жалко. Делает вид, что в этой жизни она ас и может рассказать мне, как надо жить. А ведь сама живет как-то иначе. Без веры, без любви. И без надежды.

Да что ее осуждать. Во мне самой надежды как раз только на имя. А что имя без дыхания? Набор букв.

ПОРОЙ КО МНЕ ПРИХОДЯТ учителя. Точнее, мои скорбные покои посещают всего две пчелки из огромного педагогического улья. Они заполняют соты мозжечков своих подопечных такими нужными и полезными знаниями, которые, конечно, помогут маленьким пчелятам

устроиться в жизни и понатащить побольше меду в свои арендованные улицы. Наверное, эта деятельность за пределами их рабочего графика кажется им верхом благородства.

Баба Нюра убедила школьного директора, что я способна сдать экзамены наряду со всеми, что я справлюсь. Коляска не мешает мне заполнить бланки ЕГЭ и успешно поставить галки под вопросами.

И потому несколько часов в неделю я под пристальным взглядом преподавателя, прошедшего сперва через бабушкин блокпост, сижу за этими тестами. Сколько шума в свое время было из-за них. Педагоги наперебой кричали, что эта система — для роботов, не для живых детей. Другие умоляли: хватит подражать Америке, должно же у нас остаться хоть что-нибудь свое?! Вопросы и ответы в билетах — это та мера познания степени образованности ребенка, которая проявила себя эффективной еще с советских времен! Но, в конце концов, решение было принято свыше — министерство утвердилось в выбранном пути, учредив ГОСы. Учителя перестали ждать перемен и, судорожно сжимая методички с тестами, принялись натаскивать новое поколение детей на решения бесконечных А, В или С.

Страхи, что экзамен будет провален и жизнь не удастся, наполняли нашу девятую школу. Но я смутно помню эти кошмары. Сейчас я сижу в кресле-каталке возле своего личного стола в своей спальне и лузгаю эти тесты, как поджаренные семечки, шелуха с которых спадает сама. Они даются мне удивительно легко. И при же-

лании я разобралась бы с английским, литературой, физикой... со всеми предметами, что усердные защитники бесплатного и качественного образования успели втиснуть в рамки цифровой системы испытаний. Но я не хочу. Мне просто не для чего всем этим заниматься.

Иногда ради разнообразия и скуки я вписываю неправильные ответы в свои черновики. Может, боюсь, что к безукоризненному ученику наставникам незачем будет приходиться? И тогда моим единственным собеседником останется бабушка?

Вообще, скажу я вам, это очень интересный процесс — ставить неправильный вариант в череде правильных. Вот учительница проверяет ответы, ищет, ищет, и вдруг ее красная паста касается цифры и зачеркивает ее. Наблюдать за этим очень занимательно. Как будто она — сапер, блуждающий по полю, где запрятана всего одна мина. А уж если она ее найдет, наблюдать становится увлекательнее. Начинаем разминировать. Из-за этой ошибки мы по новой перечитываем целые параграфы с правилами, повторяем на зубок все исключения из него. И это вносит какое-то разнообразие в наши занятия.

Людмила Ивановна и Татьяна Александровна мне вполне подходят. Они не просят меня перестать валять дурака, не велят причесаться, или умыться, или постирать белье. Им незачем меня воспитывать. Все, чего они от меня хотят, — хороших баллов на итоговой аттестации. Иногда меня это удивляет. Удивляет, почему они ни разу не захотели побренькать на струнах моей памяти, чтобы обсудить все произошедшее со мной.